

Игорь Джерри Курас  
Не бойся ничего  
*Стихотворения*



# Игорь Джерри Курас

## Не бойся ничего

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=11611058](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11611058)*

*ISBN 978-5-4474-2047-5*

### Аннотация

В книгу «Не бойся ничего» вошли новые стихи Игоря, написанные им за последние три года. Также в книгу включены наиболее любимые читателями ранние стихотворения поэта и два коротких автобиографических рассказа.

# Содержание

Соединение установлено.	5
Константин, Ульяна, Раиса...	6
«Среди чужих людей, вблизи своих деревьев...»	10
«И вот я заснул, убаюканный ливнем —...»	11
«Трубят будильники. В окне резвятся птицы...»	12
«Виолончель на встречной полосе —...»	14
«Встань, отключи телефоны и выброси прочь...»	16
Дождливый экзерсис	18
«Мой чижик, мой белый пушистый птенец — ...»	19
«Мне снился лес: как римскими мечами...»	20
Экклезиаст	21
«Я вошёл в этот город, как входит пожар...»	23
«Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи...»	24
«С точки зренья шмеля в середине цветка...»	26
«Приходи...»	28
«Артур Мирабель покидает пустую обитель...»	29
Этюд	30
Конец ознакомительного фрагмента.	32

# Не бойся ничего

## Игорь Джерри Курас

© Игорь Джерри Курас, 2015

© Ирина Терра, дизайн обложки, 2015

*Корректор* Елена Рипинская

*Редактор* Анна Агнич

Создано в интеллектуальной издательской системе  
Ridero.ru

*Автор выражает сердечную признательность  
Густаву Малеру за Вторую симфонию  
и прочие произведения*

**Соединение установлено.  
Пожалуйста, подождите**

# Константин, Ульяна, Раиса...

Я потерял с ними связь семнадцать лет назад. С тех пор я никогда больше о них не слышал, но их имена, выстроенные в стройный ряд, всё ещё существуют в моём мозгу, и, признаюсь, мысль о них всё ещё не даёт мне покоя.

Их всегда было пятеро: Константин, Ульяна, Раиса, Алексей и Сергей. Не знаю, как давно они были знакомы с нашей семьёй, но они точно были друзьями ещё моего деда.

Дождливый октябрьским, ещё довоенным утром мой дед произнёс эти имена в приёмном покое родильного дома. Этот ряд, как своеобразный пароль, позволил ему услышать в ответ тайну: у него родился сын. Метрические характеристики младенца с тех пор были утеряны, но это не мешало теперь уже моему отцу через двадцать пять лет точно так же произнести эти заветные пять имён и, в свою очередь, узнать о моём рождении. Когда же, двадцать лет назад, пришла моя очередь, то и я сам, волнуясь, набрал телефонный номер и на поспешную просьбу воспроизвести на свет имена этих дорогих, но незнакомых мне людей ответил с гордостью, как будто повторил священный семейный пароль: Константин, Ульяна, Раиса, Алексей, Сергей. И эти пятеро не подвели меня. На другом конце провода удовлетворённая именами медсестричка открыла мне теперь уже и мою заветную тайну: у меня родилась дочь.

Мосты были разведены, по Неве шли баржи, а я стоял один посередине этого потухшего в своей белёсой бессоннице города, отделённый от едва ещё начавшейся новой страницы моей жизни свинцовым отливом ограниченной гранитом реки.

И невидимые глазу, эти пятеро витали надо мною, как бесплотные духи: Константин танцевал с Ульяной, Раиса с Алексеем, а всегда запыхавшийся Сергей смотрел на танцующих и вытирал платком широкую лысину.

Дед был виолончелистом. Я помню, как он играл, делая гримасы лицом.

Он делал их не для того, чтобы рассмешить меня, как я думал по малолетству, а просто потому, что иначе не умел. Во время игры мышцы его лица не подчинялись ему больше – они находились во власти музыки. Пальцы его левой руки скользили вниз и вверх по грифу, а люди в зале ели мороженое.

Когда-то давно он играл с великими и знаменитыми, но жизнь подвинула его в сторонку, и в старости (а я знал его уже старым) он играл в кинотеатрах перед сеансом.

Он рассказывал мне о своей старой жизни: о войне, о брате-лётчике, отлетавшем всю войну и разбившемся где-то под Гатчиной уже после Победы.

Дед пришёл получать вещи брата и привычно назвал имена наших семейных знакомых: имена Константина, Ульяны, Раисы, Алексея и Сергея. Все пятеро незримо стояли за его

спиной в военных гимнастёрках, и дед, обернувшись, показал им всё, что осталось от брата: пару военных орденов и помятый ударом портсигар.

Два-три раза в неделю дед приезжал ко мне, чтобы заниматься с лоботрясом-внуком музыкой. Я учился играть на скрипке, и мои неяркие успехи делали его счастливым. Иногда он брал мою скрипку, ставил её к себе на колени, как виолончель, и брал первые аккорды из Чаконы Баха или из скрипичного концерта Мендельсона. Он хотел быть скрипачом, но стал виолончелистом – тогда я ещё не знал, что означает хотеть одно, а делать другое, – но с годами я это понял, как понял и внезапную грусть, блестящую в его замутированных катарактой глазах в эти странные минуты.

Когда его не стало, его не стало совсем. Осталась горстка пепла, поместившаяся в небольшую урну.

Перед тем как выдать мне урну, услужливый клерк опять спросил наш семейный пароль, и я привычно ответил: Константин, Ульяна, Раиса, Алексей, Сергей. Все пятеро стояли за моей спиной, и я отчётливо слышал сухую одышку тучноватого Сергея и короткие всхлипывания Раисы.

Они ездили со мной в командировки, они стояли за моей спиной, когда я диктовал телеграммы домой на убогих провинциальных почтамтах, они открывали передо мной двери больниц, когда я навещал маму.

В последний раз я виделся с ними в Пулково. Человек без эмоций проверял мои документы и попросил меня вспом-



нить имена, и я произвёл их на свет привычной скороговоркой: Константин, Ульяна, Раиса, Алексей, Сергей.

Я прощался с ними навсегда. Константин обнимал рыдающую Ульяну, Раиса плакала, уткнувшись в плечо Алексею. А всегда одинокий, вежливый Сергей украдкой вытирал платком то лысину, то слёзы.

Я расстался с ними навсегда, что, само по себе, было тяжело и болезненно. Но уже сидя в самолёте, я вдруг остро ощутил, что расстался не только с ними, но и со всем, что было с ними связано: со всеми рождениями, смертями, перемещениями в этом замкнутом пространстве, которое я сейчас покидаю ради другого, незнакомого мне ещё пространства. Туда нельзя было ни Константину, ни Ульяне, ни Раисе, ни Алексею, ни Сергею.

С тех пор я никогда не видел их, но часто о них вспоминаю. Что они делают без меня? Как сложилась их дальнейшая жизнь? Было бы здорово, если бы кто-нибудь из прочитавших это смог передать им от меня привет. Просто скажите Константину, Ульяне, Раисе, Алексею и Сергею, что я помню о них и вряд ли когда-нибудь их забуду.

## «Среди чужих людей, вблизи своих деревьев...»

Среди чужих людей, вблизи своих деревьев,  
навязчивый, как дождь, невыездной, как дом,  
безумный, точно Лир, насмешливый, как Тевье —  
смотри, как я *едва*, отметь, что я *с трудом*.  
Как мёртвая эмаль старушечьей финифти,  
холодный небосвод вмонтирован в карниз.  
Спроси меня: «Куда?» Замешкавшийся в лифте,  
не назову этаж – не знаю: вверх ли, вниз.  
Скажи мне, для чего с нас взяли не по чину?  
Что голос заводной твердит о полпути?  
Что в этой воркотне? Дай хоть одну причину —  
и спеть, и жизнь прожить,  
и поле перейти.

## «И вот я заснул, убаюканный ливнем —...»

И вот я заснул, убаюканный ливнем —  
и спал, и приснилось, и было легко:  
деревья висели над берегом дивным,  
и воды прозрачны, и дно глубоко.  
Безмолвные в озере плавали рыбы,  
бесшумная с ними дружила вода —  
и мне показалось: мы тоже могли бы  
как рыбы, прижавшись, уплыть навсегда.  
Прижавшись, как рыбы в одном водоёме,  
где гулко всплывают деревьев плоды,  
мы плыли спокойно — и в этом объёме  
весь мир отражался, как в капле воды.  
Проснувшись, пойму и увижу, что пусто  
и тускло, как за день до первого дня:  
бессмысленно в комнату свесилась люстра  
и смотрит глазницей пустой на меня.

# **«Трубят будильники. В окне резвятся птицы...»**

Трубят будильники. В окне резвятся птицы.  
Взметнувшись, прячутся в портьере те, кто снится.  
Являя признаки вселенской благодати,  
хлеб на столе: и многомерен, и квадратен.  
Яйцо раскрыто, как бутон неяркой розы,  
с ним сыр лоснится со слезой, как срез берёзы.  
И чайник к чашке наклоняет грустный профиль,  
и как чума ползёт по дому запах кофе.  
Звонят мобильники и требуют отдаться  
делам и замыслам; машины в стаях мчатся.  
И мир вращается, как бы внутри коробки,  
как будто кто-то нажимает сверху кнопки.

И лишь поэт лежит один в своей кровати,  
являя признаки вселенской благодати.  
Царь Соломон – он лепесток огромной розы,  
Непробуждённые, его блаженны позы.  
Его лицо запечатлело нам загадку —  
как будто времени сумел всучить он взятку.  
Укутан плотно часовыми поясами —  
который час сейчас, они не знают сами.  
Он спит, уставший от ночных небесных странствий,  
Он отражается лицом в ином пространстве.

Ведь так решил нажавший кнопки на коробке:  
«Пусть спит поэт, бедняга, – век его короткий».

# «Виолончель на встречной полосе —...»

Виолончель на встречной полосе —  
и струны к небу в тысячу свечей.  
Вот справа лес, и в нём – виолончель:  
в лесу трава – смычок висит в росе.  
Прыжками жиг, роптаньем сарабанд,  
где вдох, как Бах, а выдох, как полёт —  
мир приторочен, точно чёрный бант,  
и заколочен, словно чёрный ход.  
Ни победить, ни объявить ничьей —  
смычок в росе искрится и течёт.  
Какой там счёт, когда виолончель?  
Мой дурачок, никто не знает счёт.  
Ветшает слово в гардеробной фраз,  
луна то в профиль, то опять анфас.  
Смотри, как странно: с каждой сменой фаз  
стареет сердце и скудеет глаз.  
Без лишних слов, без правильных речей  
виолончели на плече наклон.  
На миг повиснет и твоя качель:  
на двух канатах – с четырёх сторон.  
И, заколочен, точно чёрный ход  
твой старый мир останется ничей.  
Твой вдох, как Бах – твой выдох, как полёт.

Лети туда, где ждёт виолончель.

# «Встань, отключи телефоны и выброси прочь...»

Встань, отключи телефоны и выброси прочь;  
каждую точку экрана закрой, обесточь:  
всем дочерям иудейским сказали, что ночь —  
значит, никто не придёт и не сможет помочь.  
Всем сыновьям иудейским сказали: пора,  
только никто не услышит шаги у шатра.  
Кто-то проснётся, а кто-то проспит до утра —  
но ни один не придёт к пепелищу костра.  
Я же не флейта! На мне невозможно играть!  
Все мои клапаны ржавы, попробуй понять, —  
ржавы, как смытая морем — не в силах догнать —  
вся фараонская конница,  
вся его рать.  
Даже закат этот —  
бурый, как с пятнами ржи;  
мост на канатах ржавеет, за ним гаражи,  
шпили, железные рельсы,  
домов этажи...  
Что ты задумал?  
Оставь это!  
Брось!  
Отложи!  
Что ты задумал — зачем ты суров и упрям?



Что сыновьям иудейским  
и их дочерям?

Росчерк еловый отчётлив в окне, и ветвям  
как распрямиться от ветра за стёклами рам?

Встань, отключи телефоны и выброси прочь;  
каждую точку экрана закрой, обесточь:

ты же не флейта, ты знаешь, что ночь – это ночь,  
значит, никто не придёт и не сможет помочь.

# Дождливый экзерсис

Ты заметила? – воздух сегодня больной.  
Моросит над осинами дождик дрянной,  
в придорожной грязи суетится  
бестолковая чёрная птица.

А над лесом, едва ли понятное нам,  
шепчет небо надменно округлым холмам  
настороженно важное что-то,  
но вникать всё равно неохота.

Там, в недельной небритой щетине травы,  
даже сбившись с пути не сложить головы,  
даже если совсем постараться —  
не забыться и не затеряться.

Чьё-то имя земное играет со мной,  
подавая сигналы зелёной волной,  
призывая, как длинная нота —  
но вникать всё равно неохота.

И суровы осины, и дождь моросит,  
и тяжёлое небо надменно висит,  
и не может никак приютиться  
бестолковая чёрная птица.

# «Мой чижик, мой белый пушистый птенец —...»

Мой чижик, мой белый пушистый птенец —  
мой ангел залётный: недолгий, невечный.  
Не ты ли – коварный и ловкий хитрец —  
оставил мне в сердце рубец безупречный?  
А я наслаждался твоею росой —  
нет, – сладостным мёдом твоим наслаждался,  
как вдруг обернулся ты яркой осой  
и звонко звенел, и вонзался, вонзался!  
Возьми моё сердце, и кровь мою слей,  
мой ангел, мой чижик, мой птенчик пушистый.  
Твой смех посреди кукурузных полей  
влетал в моё ухо неистов, неистов.  
И шёпот, и стон, и дыхание твоё,  
мой ангел залётный, мой птенчик, мой чижик,  
росою и мёдом меня до краёв  
заполнили, как ядовитою жижей.  
Я умер, мой чижик, я – пепел внутри.  
Мой ангел, ты выжег меня без остатка.  
Раскрой свои крылья – взлети, посмотри,  
как больно мне, чижик, как сладко, как сладко.

# «Мне снился лес: как римскими мечами...»

Мне снился лес: как римскими мечами,  
он весь пронзался острыми лучами,  
входящими в него наискосок.

Лес был прозрачен, строен и высок,  
и каждая из бесконечных сосен  
врывалась в ослепительную просинь  
над головой — и этой синеве  
не уместиться было в голове.

Безумные вокруг метались птицы —  
и не пойму, к чему такое снится, —  
но там, в лесу, под каждую сосной  
стояла ты вселенской медсестрой.

# Экклезиаст

Экклезиаст (Когелет – говорящий в собрании, Кагале, – все же чаще Экклезиаст) увидел: «На круги своя вернётся», – ветер ли, крутящий потухший лист, ушедшего шага, день скорби, день веселья: уходящий и наступающий. Что же делать мне? Вот ветра круг в первичной вышине — а вот, как ветер, кругом ходит время, и за ночь успевает прорасти колючее зазубренное семя, которое вчера держал в горсти. Потом стемнеет. В странном падеже всё сущее: к наскучившим уже простым предметам не найти вопроса (*кто – что? о ком – о чем?*) – и безголосо затянет дождь, и думать при дожде легко: вода в последнем вираже свершенья круга, то есть перед носом здесь иллюстрация: круги воды в ведре (замедленно увидим, что внедрение воды дождя в другие воды) — последний миг потерянной свободы, короткий миг. Все окна на замке,

как на чадре – но дверь открыта. Своды  
еловых башен видят: в сентябре  
всё будет так же – сыро или серо:  
здесь все равно задёрнута портьера,  
но дверь открыта, а за ней – ведро;  
и капля, потеряв упругость сферы,  
становится с другими заодно.

Круг завершён. Ударившись о дно,  
всплывает лист (берёзы, для примера),  
смывается и тянется к траве,  
там растворясь, как басма в седине:  
ржавеет и – теряется. Пока мне  
не ясно: кто разбрасывает камни?  
кто соберёт? В первичной вышине  
кто наблюдает ветер? И в окне —  
там, за портьерой, как за чёрной ставней,  
зачем опять приходит день недавний?  
И в этом дне, – скажи, что делать мне?

# **«Я вошёл в этот город, как входит пожар...»**

Я вошёл в этот город, как входит пожар,  
как победное знамя в расплечины крыши:  
– Император!

Ссутуленным шагом паж  
тихий город ко мне переулками вышел.  
И хлеб-соль куполов положил мне к ногам  
в ожидании горьком – но полно, мой город,  
я гордыню запрячу, как прячут наган  
атаманы,  
поэты – огонь аллегорий.

Я гордыню умерю – как в ножны кинжал:  
открыванье Америк – пустые прогулки...  
Я вошёл в этот город как входит пожар —  
и растаял огнём фонаря в переулке.

# «Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи...»

Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи.

Время умеет сделать камнем живое. Время умеет.

Вот и рассвет поднимается вроде бы, но каменеет:  
только светает ещё, а уже темнеет.

Что тебе мифы ушедших народов —  
и возвращённых народов свитки?

Что ты пытаешься сделать,  
сломавшись при первой попытке?

Все непутёвы твои путевые заметки, бесцветны цветные  
открытки —

ткани твоих покрывал опостытели так,  
что простыли до нитки.

Что же ты сможешь понять обо мне  
по обрывкам моих многоточий?

по неразборчивым фразам соседей,  
по выдумкам взбалмошных дочек?

по фотографиям глупым (та лучше, а эта – не очень)?  
по очертаниям каждой бессонной прожорливой ночи?

Пепел Помпеи, моя дорогая, пепел Помпеи.

Снова пустеют глаза Галатеи, снова пустеют.

Голос ещё раздаётся, но он, отзвучав, немеет.

Время сумеет сделать камнем живое.

Время сумеет.





# «С точки зрения шмеля в середине цветка...»

С точки зрения шмеля в середине цветка,  
изогнувшего стебель дугой,  
даже этот, ничем не приметный закат  
зреет каплей нектара тугой.  
Чтобы только остаться один на один  
с неразгаданной формулой дня,  
чтобы тени длиннее: суровых осин —  
и моя, с точки зрения меня.  
Под бумажным плафоном, на ощупь, едва —  
то сплавляла меня, то звала;  
и мозги мне запудрила напрочь, и два  
бутафорских прозрачных крыла.  
И не мог ни взлететь, ни поднять головы,  
ни подумать: хочу ли ещё?  
Три листа распластались. Лесные стволы  
сплетены ядовитым плющом.  
Как пять пальцев своих я тебя изучил,  
след росы на руке сладковат.  
Пусть на ощупь, как шмель — только хватит ли сил  
сквозь ничем не приметный закат?  
Чтобы восемь часов на исходе витка  
потянулись нектаром тугим —  
с точки зрения шмеля в середине цветка;

с точки зрения меня перед ним.

# «Приходи...»

Приходи.

Это не прихоть.

Это не вытряхнуть из головы.

В комнате тихо —

войди, внеси хоть

поскрипывание половиц.

Чтоб услышать — и не обернуться,

только вздрогнуть — и ждать, и ждать,

и прижаться, и лбом уткнуться,

не дышать.

Не дышать, не спугнуть, не сглазить

суетливостью слов пустых —

только длинные пальцы гладить,

дотянувшиеся до моих

пальцев!

Боже, такая малость:

дотянуться, сплестись, врасти,

чтобы руки не разжимались,

чтобы губы не отвести!

Этот город, пустой и блёклый,

может, только тем и живёт,

что согретые лбами окна

ждут того, кто уже не придёт.

# «Артур Мирабель покидает пустую обитель...»

Артур Мирабель покидает пустую обитель,  
точнее, она остаётся пустая за ним —  
поскольку он сам — опустевшей обители житель —  
стоит на пороге: печальный, доверчивый мим.  
О, взгляд бесконечный прощанья у двери открытой:  
не убраны чашки, и всё ещё смята постель.  
Артур Мирабель выбирает остаться забытым,  
поскольку остаться не может Артур Мирабель.  
Всмотревшись, уже не сказать: кто же мим? кто же  
зритель? —  
какое движение руки означает: *постой!*  
Артур Мирабель покидает пустую обитель,  
поскольку она даже с ним оставалась пустой.

# Этюд

Я наблюдаю поведение пива:  
к твоим губам прильнув неторопливо,  
услужливое, изменяет круг  
на тонкий эллипс – и, очнувшись вдруг,  
находит равновесие лениво  
в освобожденье медленном из рук.  
Ты молчалива. С книжными княжнами  
легко тебя сравнить, поскольку хмель  
меня снабжает нужными словами —  
но ты молчишь, как будто между нами  
и впрямь простёрлось тридевять земель,  
и степь вздымает пыль за скакунами.  
Но тут вступает музыка. Тапёр  
тихонько примеряется к созвучьям —  
как если б осознал, что был обучен  
одним лишь пошлым полькам, и с тех пор  
беспомощным желанием измучен —  
нащупать гармонический узор.  
Он мается (маэстро!), звуки мнёт,  
он измеряет зал угрюмым взглядом,  
и время терпеливо жмётся рядом  
листать листы невидимые нот.  
И, кажется, гармонии подвластен,  
изменит мир свой сволочной расклад:

всех блудных сыновей вернёт назад,  
всем блудным жёнам, чуткий, даст причастье...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.